



Алексей Толстой

Хождение по мукам.
Книга 2.
Восемнадцатый год

ФТМ



Хождение по мукам

Алексей Толстой

**Хождение по мукам. Книга
2. Восемнадцатый год**

«ФТМ»

1928

Толстой А. Н.

Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год /
А. Н. Толстой — «ФТМ», 1928 — (Хождение по мукам)

ISBN 978-5-4467-1787-3

«Хождение по мукам» – уникальная по яркости и масштабу повествования трилогия, на страницах которой перед читателем предстает картина событий, потрясших весь мир. Выдающееся произведение А.Н.Толстого показывает Россию в один из самых ярких, сложных и противоречивых периодов ее истории – в тревожное предреволюционное время, в суровые годы революционных потрясений и Гражданской войны.

ISBN 978-5-4467-1787-3

© Толстой А. Н., 1928

© ФТМ, 1928

Содержание

1	5
2	15
Конец ознакомительного фрагмента.	23

*В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено.
Чище мы чистого.*

1

Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор – обрывки военных приказов, театральные афиш, воззваний к «совести и патриотизму» русского народа. Пестрые лоскуты бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со снежными змеями поземки.

Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы... Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелись: там – кусочек сыру, там – засохший пирожок. Но это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули – на кучи решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой, дулом вниз, через плечо.

Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце семнадцатого года.

Страшно, непонятно, непостижимо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поземкой, перебежал человек в изодранной шляпе, с ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква ять, бог, собственность и само право жить как хочется – отменялось. Отменено! Из-под шляпы свирепо поглядывал наклейщик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям обитатели в валенках, в шубах, – заламывая пальцы, повторяли:

– Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему... Смерть!..

Подходя к окнам, видели: наискосок, у особняка, где жило его высокопревосходительство и где, бывало, городской вытягивался, косясь на серый фасад, – стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из настезь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом – кумачовый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство, с бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его трясется. Выселяют! Куда в такую стужу? А куда хочешь... Это – высокопревосходительство-то, нерушимую косточку государственного механизма!

Настает ночь. Черно – ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а говорят, Смольный залит светом, и в фабричных районах – свет. Над истерзанным, простреленным городом воеет вьюга, насвистывает в дырявых крышах: «Быть нам пу-у-усту». И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет, зачем, в кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака? Это горят винные склады... В подвалах, в вине из разбитых бочек, захлебнулись люди... Черт с ними, пусть горят заживо!

О, русские люди, русские люди!

Русские люди, эшелон за эшелонем, валили миллионными толпами с фронта домой, в деревни, в степи, в болота, в леса... К земле, к бабам... В вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь, так что и покойника нельзя было вытащить из тесноты, выкинуть в окошко. Ехали на буферах, на крышах. Замерзали, гибли под колесами, проламывали головы на габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку, – все

пригодится в хозяйстве: и пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофон и кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег – этот хлам не годился даже вертеть козы ножки.

Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щелкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостня мировой буржуазии. «Давай паровоз!.. Жить тебе надоело, такой-сякой, матерний сын? Отправляй эшелон!..» Бежали к выдохшемуся паровозу, с которого и машинист и кочегар удрали в степь. «Угля, дров! Ломай заборы, руби двери, окна!»

Три года тому назад много не спрашивали – с кем воевать и за что. Будто небо раскололось, земля затряслась: мобилизация, война! Народ понял: время страшным делам надвинулось. Кончилось старое житье. В руке – винтовка. Будь что будет, а к старому не вернемся. За столетия накопили обиды.

За три года узнали, что такое война. Впереди пулемет и за спиной пулемет, – лежи в дерьме, во вшах, покуда жив. Потом – содрогнулись, помутилось в головах – революция... Опомнились, – а мы-то что же? Опять нас обманывают? Послушали агитаторов: значит, раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными... Повоевали, – повертывай домой на расправу. Теперь знаем, в чье пузо – штык. Теперь – ни царя, ни бога. Одни мы. Домой, землю делить!

Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. По селам и хуторам заскрипело, залазгало, – это напильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю. А по избам, как в старые-старые времена, светилась лучина, и бабы натягивали основы на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатило назад, в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция, Октябрьская...

Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный полярным ветром Петербург, окруженный неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами, город без угля и хлеба, с погасшими трубами заводов, город, как обнаженный мозг человеческий, – излучал в это время радиоволнами Царскосельской станции бешеные взрывы идей.

– Товарищи, – застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в финской шапочке задом наперед, – товарищи дезертиры, вы повернулись спиной к гадам-имперьялистам... Мы, питерские рабочие, говорим вам: правильно, товарищи... Мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии. Долой имперьялистическую войну!

– Лой... лой... лой... – лениво прокатилось по кучке бородатых солдат.

Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру III. Заносило снегом черную громаду царя и – под мордой его куцей лошади – оратора в распахнутом пальтишке.

– Товарищи... Но мы не должны бросать винтовку! Революция в опасности... С четырех концов света поднимается на нас враг... В его хищных руках – горы золота и страшное истребительное оружие... Он уже дрожит от радости, видя нас захлебнувшимися в крови... Но мы не дрогнем... Наше оружие – пламенная вера в мировую социальную революцию... Она будет, она близко...

Конец фразы отнес ветер. Здесь же, у памятника, остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами. Но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание, даже не фраза, а исступленная вера, с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды:

– ...Да ведь поймите же вы... через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло – деньги... Ни голода, ни нужды, ни унижения... Бери, что тебе нужно, из общественной кладовой... Товарищи, а из золота мы построим общественные нужники...

Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратору. Сгибаясь со злой досадой, он закашлялся – и не мог остановиться: разрывало легкие. Солдаты постояли, качнули высокими шапками и пошли, – кто на вокзалы, кто через город за реку. Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлому граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко:

– Рублев, здорово.

Василий Рублев, все еще кашляя, застегивал пальтишко. Не подавая руки, глядел недобро на Ивана Ильича Телегина.

– Ну? Что надо?

– Да рад, что встретил...

– Эти черти, дуболомы, – сказал Рублев, глядя на неясные за снегопадом очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла все те же, заеденные вшами, бородатые фронтовики, – разве их прошибешь? Бегут с фронта, как тараканы. Недоумки... Тут нужно – террор...

Застуженная рука его схватила снежный ветер... И кулак вбил что-то в этот ветер. Рука повисла, Рублев студено передернулся...

– Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо. – Телегин отогнул воротник и нагнулся к землистому лицу Рублева. – Объясните мне, ради бога... Ведь мы в петлю лезем... Немцы, захотят, через неделю будут в Петрограде... Понимаете, – я никогда не интересовался политикой...

– Это как так, – не интересовался? – Рублев весь взъерошился, угловато повернулся к нему. – А чем же ты интересовался? Теперь – кто не интересуется – знаешь кто? – Он бешено взглянул в глаза Ивану Ильичу. – Нейтральный... враг народа...

– Вот именно, и хочу с тобой поговорить... А ты говори по-человечески.

Иван Ильич тоже взъерошился от злости, Рублев глубоко втянул воздух сквозь ноздри.

– Чудак ты, товарищ Телегин... Ну, некогда же мне с тобой разговаривать, – можешь ты это понять?..

– Слушай, Рублев, я сейчас вот в каком состоянии... Ты слышал: Корнилов Дон поднимает?

– Слыхали.

– Либо я на Дон уйду... Либо с вами...

– Это как же так: либо?

– А вот так – во что поверю... Ты за революцию, я за Россию... А может, и я – за революцию. Я, знаешь, боевой офицер...

Гнев погас в темных глазах Рублева, в них была только бессонная усталость.

– Ладно, – сказал он, – приходи завтра в Смольный, спросишь меня... Россия... – Он покачал головой, усмехаясь. – До того остервенеешь на эту твою Россию... Кровью глаза зальет... А между прочим, за нее помрем все... Ты вот пойдешь сейчас на Балтийский вокзал. Там тысячи три дезертиров третью неделю валяются по полу... Промитингуй с ними, проагитируй за советскую власть... Скажи: Петрограду хлеб нужен, нам бойцы нужны... (Глаза его снова высохли.) Скажи им: а будете на печке пузо чесать – пропадете, как сукины дети. Пропишут вам революцию по мягкому месту... Продолби им башку этим словом!.. И никто сейчас не спасет России, не спасет революции, – одна только советская власть... Понял? Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции...

По обмерзлой лестнице, в темноте, Телегин поднялся к себе на пятый этаж. Ощупал дверь. Постучал три раза, и еще раз. К двери изнутри подошли. Помолчав, спросил тихий голос жены:

– Кто?

– Я, я, Даша.

За дверью вздохнули. Загремела цепочка. Долго не поддавался дверной крюк. Слышно было, как Даша прошептала: «Ах, боже мой, боже мой». Наконец открыла и сейчас же в темноте ушла по коридору и где-то села.

Телегин тщательно запер двери на все крючки и задвижки. Снял калоши. Пощупал, – вот черт, спичек нет. Не раздеваясь, в шапке, протянув перед собой руки, пошел туда же, куда ушла Даша.

– Вот безобразия, – сказал он, – опять не горит. Даша, ты где?

После молчания она ответила негромко из кабинета:

– Горело, потухло.

Он вошел в кабинет; это была самая теплая комната во всей квартире, но сегодня и здесь было прохладно. Вгляделся, – ничего не разобрать, даже дыхания Дашиного не было слышно. Очень хотелось есть, особенно хотелось чаю. Но он чувствовал: Даша ничего не приготовила.

Отогнув воротник пальто, Иван Ильич сел в кресло у дивана, лицом к окошку. Там, в снежной тьме, бродил какой-то неясный свет. Не то из Кронштадта, не то ближе откуда-то, – щупали прожектором небо.

«Хорошо бы печурку затопить, – подумал Иван Ильич. – Как бы так спросить осторожно, где у Даши спички?»

Но он не решился. Знать бы точно, что она – плачет, дремлет? Слишком уж было тихо. Во всем многоэтажном доме – пустынная тишина. Только где-то слабо, редко похлопывали выстрелы. Внезапно шесть лампочек в люстре слегка накалились, красноватый свет слабо озарил комнату. Даша оказалась у письменного стола, – сидела, накинув шубку поверх еще чего-то, отставив одну ногу в валенке. Голова ее лежала на столе, щекой на промокашке. Лицо худое, измученное, глаз открыт, – даже глаз не закрыла, сидела неудобно, неестественно, кое-как...

– Дашенька, нельзя же так все-таки, – глуховато сказал Телегин. Ему совершенно нестерпимо стало жаль ее. Он пошел к столу. Но красные волоски в лампочках затрепетали и погасли. Только и было света, что на несколько секунд.

Он остановился за спиной Даши, нагнулся, сдерживая дыхание. Чего бы проще, – ну хоть погладить ее молча. Но она, как труп, ничем не ответила на его приближение.

– Даша, ну не мучь же так себя...

Месяц тому назад Даша родила. Ребенок ее, мальчик, умер на третий день. Роды были раньше срока, – случились после страшного потрясения. В сумерки на Марсовом поле на Дашу наскочили двое, выше человеческого роста, в развевающихся саванах. Должно быть, это были те самые «попрыгунчики», которые, привязав к ногам особые пружины, пугали в те фантастические времена весь Петроград. Они заскрежетали, засвистели на Дашу. Она упала. Они сорвали с нее пальто и запрыгали через Лебяжий мост. Некоторое время Даша лежала на земле. Хлестал дождь порывами, дико шумели голые липы в Летнем саду. За Фонтанкой протяжно кто-то кричал: «Спасите!» Ребенок ударял ножкой в животе Даши, просился в этот мир.

Он требовал, и Даша поднялась, пошла через Троицкий мост. Ветром прижимало ее к чугунным перилам, мокрое платье липло между ногами. Ни огня, ни прохожего. Внизу – взволнованная черная Нева. Перейдя мост, Даша почувствовала первую боль. Поняла, что не дойдет, хотелось только добраться до дерева, прислониться за ветром. Здесь, на улице Красных Зорь, ее остановил патруль. Солдат, придерживая винтовку, нагнулся к ее помертвевшему лицу:

– Раздели. Ах, сволочи! Да, смотри, брюхатая.

Он и довел Дашу до дому, втащил на пятый этаж. Грохнув прикладом в дверь, закричал на высунувшегося Телегина:

– Разве это дело – по ночам дамочку одну пускать, на улице едва не родила... Черти, буржуи бестолковые...

Роды начались в ту же ночь. В квартире появилась говорливая акушерка. Муки окончились через сутки. Мальчик был без дыхания – наглотался воды. Его хлопали, растирали, дули в рот. Он сморщился и заплакал. Акушерка не унывала, хотя у ребенка начался кашель. Он все плакал жалобно, как котенок, не брал груди. Потом перестал плакать и только кряхтел. А наутро третьего дня Даша потянулась к колыбели и отдернула руку – ощупала холодное тельце. Схватила его, развернула, – на высоком черепе его светлые и редкие волосы стояли дыбом.

Даша дико закричала. Кинулась с постели к окну: разбить, выкинуться, не жить... «Предала, предала... Не могу, не могу!» – повторяла она. Телегин едва ее удержал, уложил. Унес трупик. Даша сказала мужу:

– Покуда спала, к нему пришла смерть. Пойми же – у него волосики стали дыбом... Один мучился... Я спала...

Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видения одинокой борьбы мальчика со смертью.

– Хорошо, Иван, я больше не буду, – отвечала она Телегину, чтобы не слышать мужнина рассудительного голоса, не видеть его здорового, румяного, несмотря на все лишения, «жизнерадостного» лица.

Телегинского здоровья с излишком хватало на то, чтобы с рассвета до поздней ночи летать в рваных калошах по городу в поисках подсобной работишки, продовольствия, дровишек и прочего. По несколько раз на дню он забегал домой, был необычайно хлопотлив и внимателен.

Но именно эти нежные заботы Даше меньше всего и были нужны сейчас. Чем больше Иван Ильич проявлял жизненной деятельности, тем безнадежнее отдалялась от него Даша. Весь день сидела одна в холодной комнате. Хорошо, если находила дремота, – подремлет, проведет рукой по глазам, и как будто ничего. Пойдет на кухню, вспоминая, что Иван Ильич просил что-то сделать. Но самая пустячная работа валилась из рук. А ноябрьский дождик стучал в окна. Шумел ветер над Петербургом. В этом холоде на кладбище у взморья лежало мертвое тельце сына, не умевшего даже пожаловаться...

Иван Ильич понимал, что она больна душевно. Погасшего электричества было достаточно, чтобы она приткнулась где-нибудь в углу, в кресле, закрыла голову шалью и затихла в смертельной тоске. А надо было жить, надо жить... Он писал о Даше в Москву, ее сестре Екатерине Дмитриевне, но письма не доходили. Катя не отвечала, или с ней приключилось тоже что-нибудь недоброе. Трудные были времена.

Топчась за Дашиной спиной, Иван Ильич случайно наступил на коробку спичек. Сейчас же все понял: когда погасло электричество, Даша боролась с темнотой, с тоской, зажигая временами спички. «Ай-ай-ай, – подумал он, – бедняжка, ведь одна целый день».

Он осторожно поднял коробку, – в ней оставалось еще несколько спичек. Тогда он принес из кухни заготовленные еще с утра дровишки, – это были тщательно распиленные части старого гардероба. В кабинете, присев на корточки, стал разжигать небольшую печку, обложенную кирпичом, с железной трубой – коленом через всю комнату. Приятно запахло дымком загоревшейся лучины. Завыл ветерок в прорезях печной дверки. Круг зыбкого света появился в потолке.

Эти самодельные печки получили впоследствии широко распространенное название «буржук» или «пчелок». Они честно послужили человечеству во все время военного коммунизма. Простые – железные, на четырех ножках, с одной конфоркой, или хитроумные, с духовым шкафом, где можно было испечь лепешки из кофейной гущи и даже пирог с воблой, или роскошные, обложенные изразцами, содранными с камина, – они и грели, и варили, и пекли, и напевали вековую песню огня под вой метели.

К их горячим уголькам люди собирались, как в старые времена к очагу, грели иззябшие руки, поджидая, когда заплещет крышка на чайнике. Вели беседы, к сожалению, никем

не записанные. Придвинув поближе изодранное кресло, профессора, обросшие бородами, в валенках и пледах, писали удивительные книги. Прозрачные от голода поэты сочиняли стихи о любви и революции. Кругом сидящие заговорщики, сдвинув головы, шепотом передавали вести, одна страннее другой, фантастичнее. И много великолепных старинных обстановок вылетело через железные трубы дымом в эти годы.

Иван Ильич очень уважал свою печку, смазывал щели ее глиной, подвешивал под трубы жестянки, чтобы деготь не капал на пол. Когда вскипел чайник, он вытащил из кармана пакет и насыпал сахару в стакан, послаще. Из другого кармана вытащил лимон, чудом попавший ему в руки сегодня (выменял за vareжки у инвалида на Невском), приготовил сладкий чай с лимоном и поставил перед Дашей.

– Дашенька, тут с лимончиком... А сейчас я спроворю моргалку.

Так называлось приспособление из железной баночки, где в подсолнечном масле плавал фитилек. Иван Ильич принес моргалку, и комната кое-как осветилась.

Даша уже по-человечески сидела в кресле, кушала чай. Телегин, очень довольный, сел поблизости.

– А знаешь, кого я встретил? Василия Рублева. Помнишь, у меня в мастерской работали отец и сын Рублевы? Страшные мои приятели. Отец – с хитрейшим глазком, – одна нога в деревне, другая на заводе. Замечательный тип! А Василий тогда уже был большевиком, – умница, злой, как черт. В феврале первый вывел наш завод на улицу. Лазил по чердакам, разыскивал городских; говорят, сам заперол их чуть ли не полдюжины... А после Октябрьского переворота стал шишкой. Так вот, мы с ним и поговорили... Ты слушаешь меня, Даша?

– Слушаю, – сказала она. Поставила пустой стакан, подперлась худым кулачком, глядела на плавающий огонек моргалки. Серые глаза ее были равнодушны ко всему на свете. Лицо вытянутое, нежная кожа казалась прозрачной, носик, такой прежде независимый, даже легкомысленный, обострился. – Иван, – сказала она (должно быть, для того, чтобы высказать признательность за чай с лимоном), – я искала спички, нашла за книгами коробку с папиросами. Если тебе нужно...

– Папиросы! Ведь это еще старые, Дашенька, мои любимые! – Иван Ильич преувеличенно обрадовался, хотя коробку с папиросами сам спрятал за книги про черный день. Он закурил, искоса поглядывая на Дашин неживой профиль. «Увезти ее нужно подальше отсюда, к солнцу». – Ну-с, так вот, поговорил я с Василием Рублевым, и он мне здорово помог, Даша... Я не верю, чтобы эти большевики так вдруг и исчезли. Тут корень в Рублеве, понимаешь?... Действительно, их никто не выбирал. И власть-то их – на волоске, – только в Питере, в Москве да кое-где по губернским городам... Но тут весь секрет в качестве власти... Эта власть связана кровяной жилой с такими, как Василий Рублев... Их немного на нашу страну... Но у них вера. Если его львами и тиграми травить или живым жечь, он и тут с восторгом запоет «Интернационал»...

Даша продолжала молчать. Он помешал в печке. Сидя на корточках перед дверцей, сказал:

– Понимаешь, к чему говорю?... Нужно куда-нибудь качнуться. Сидеть и ждать, покуда все образуется, как-то, знаешь, неудобно... Сидеть у дороги, просить милостыню – стыдно. Я здоровый человек. Я не саботажник... У меня, по совести говоря, руки чешутся...

Даша вздохнула. Веки ее сжались, из-под ресниц поползла слеза. Иван Ильич засопел:

– Разумеется, прежде всего нужно решить вопрос о тебе, Даша... Тебе нужно найти силы, встряхнуться... Ведь так, как ты живешь, это угасание.

Он не удержался, – с раздражением подчеркнул это слово: угасание. Тогда Даша проговорила жалобным детским голосом:

– Разве я виновата, что не умерла тогда! А теперь мешаю вам жить... Вы лимон приносите... Я же не прошу...

«Вот, поди, разговаривай!» Иван Ильич походил по комнате, постучал ногтями в запотевшее стекло. Крутился снег, пела вьюга, мчался лютый ветер с такою силой, будто опережая само время, летел в грядущие времена оповещать о необычайных событиях. «За границу ее отправить? – думал Иван Ильич. – В Самару, к отцу? Как все это сложно... Но так жить нельзя дольше...»

* * *

Дашина сестра, Екатерина Дмитриевна, увезла мужа, Вадима Петровича Рощина, в Самару к отцу, где можно было спокойно переждать до весны, не дрожа за каждый кусок хлеба. К весне, разумеется, большевики должны были кончиться. Доктор Дмитрий Степанович Булавин намечал даже точные даты, а именно: между концом морозов и началом весенней распутицы немцы развернут наступление по всему фронту, где митинговали остатки русских армий, а солдатские комитеты среди хаоса, предательства и дезертирства тщетно пытались найти новые формы революционной дисциплины.

Дмитрий Степанович постарел за эти годы, жил неважно и еще больше разговаривал о политике. Он чрезвычайно обрадовался приезду дочери и сейчас же взял в политическую обработку Рощина. По целым часам сидели они в столовой за самоваром (двухведерной измятой машиной, пропустившей через нутро свое целое озеро кипятку и от старости наловчившейся, – чуть только брось в нее уголек, – подолгу петь провинциальные самоварные песни). Дмитрий Степанович, одетый крайне неряшливо, обрюзгший и потучневший, с седыми нечесаными кудрями, курил вонючие папироски, кашлял, багровея, и говорил, говорил...

– Странишка наша провалилась к чертовой матери... Войну мы проиграли-с... Не в гнев вам сказано, господин подполковник. Надо было в пятнадцатом году заключать мир-с... И идти к немцам в кабалу и выучку. И тогда бы они нас кое-чему научили, тогда бы мы еще могли стать людьми. А теперь кончено-с... Медицина, как говорится, в сем случае бессильна... Оставьте, пожалуйста!.. Чем мы будем обороняться, – вилами-троячками? Этим же летом немцы займут всю южную и среднюю полосу России, японцы – Сибирь, мужепесов наших со знаменитыми троячками загонят в тундры к Полярному кругу, и начнется порядок, и культура, и уважительное отношение к личности... И будет у нас Русланд... чему я весьма доволен-с...

Дмитрий Степанович был старым либералом и теперь с горькой иронией издевался над прошлым «святым». Даже на всем доме его лежал отпечаток этого самооплевывания. Комнаты с пыльными окнами не прибирались, портрет Менделеева в кабинете густо затянуло паутиной, растения в кадках высохли, книги, ковры, картины так и лежали в ящиках под диванами с тех пор, как в последний раз, летом четырнадцатого года, здесь была Даша.

Когда в Самаре власть перешла к совдепу и большинство врачей отказалось работать с «собачьими и рачьими депутатами», – Дмитрию Степановичу предложили пост заведующего всеми городскими больницами. Так как по его расчетам выходило, что все равно к весне в Самаре будут немцы, он принял назначение. С медикаментами обстояло плохо, и Дмитрий Степанович пользовал одними клистирами. «Все дело в кишке, – говорил он ассистентам, глядя на них с ироническим превосходством через треснувшее пенсне. – За время войны население не чистило желудок. Покопайтесь в первопричинах нашей благословенной анархии – и упретесь в засоренный желудок. Так-то, господа... Безусловный и поголовный клистир...»

На Рощина разговоры за чайным столом производили тягостное впечатление. Он еще не оправился от контузии, полученной первого ноября в Москве в уличном бою. Тогда он командовал ротой юнкеров, защищая подступы к Никитским воротам. Со стороны Страстной площади наседали с большевиками Саблин. Рошин знал его по Москве еще гимназистиком, ангельски хорошеньким мальчиком с голубыми глазами и застенчивым румянцем. Было дико

сопоставить юношу из интеллигентной старомосковской семьи и этого остервенелого большевика или левого эсера, – черт их там разберет, – в длинной шинели, с винтовкой, перебегающего за липами того самого, воспетого Пушкиным, Тверского бульвара, где совсем еще так недавно добропорядочный гимназистик прогуливался с грамматикой под мышкой. «Предать Россию, армию, открыть дорогу немцам, выпустить на волю дикого зверя, – вот, значит, за что вы деретесь, господин Саблин!.. Нижним чинам, этой сопатой сволочи, еще простить можно, но вам...» Рошин сам лег за пулеметом (в окопчике, на углу Малой Никитской, у молочной лавки Чичкина), и когда опять выскочила из-за дерева тонкая фигура в длинной шинели, полил ее свинцом. Саблин уронил винтовку и сел, схватившись за ляжку около паха. Почти в ту же минуту с Рошина сорвало осколком фуражку. Он выбыл из строя.

В седьмую ночь боя на Москву опустился густой желтый туман. Затихло бульканье выстрелов. Еще дрались кое-где отдельные несвязные кучки юнкеров, студентов, чиновников. Но Комитет общественной безопасности, во главе с земским доктором Рудневым, перестал существовать. Москва была занята войсками ревкома. На другой же день на улицах можно было видеть молодых людей в штатском, в руке – узелок, в глазах – недоброе. Они пробирались к вокзалам – Курскому и Брянскому... И хотя на ногах у них были военные обмотки или кавалерийские сапоги, – никто их не задерживал.

Если бы не контузия, ушел бы и Рошин. Но у него случился легкий паралич, затем слепота (временная), затем какая-то чертовщина с сердцем. Он все ждал – вот-вот подойдут войска из ставки и начнут бить шестидюймовыми с Воробьевых гор по Кремлю. Но революция только еще начинала углубляться в народные толщи. Катя уговорила мужа уехать, забыть на время о большевиках, о немцах. А там будет видно.

Вадим Петрович подчинился. Сидел в Самаре, не выходя из докторской квартиры. Ел, спал. Но – забыть! Разворачивая каждое утро «Вестник Самарского Совета», печатающийся на оберточной бумаге, стискивал челюсти. Каждая строчка полосовала, как хлыст.

«...Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов призывает крестьян, рабочих и солдат Германии и Австро-Венгрии дать беспощадный отпор империалистическим требованиям своих правительств... Призывает солдат, крестьян и рабочих Франции, Англии и Италии заставить свои кровавые правительства немедленно заключить честный демократический мир всех народов... Долой империалистическую войну! Да здравствует братство трудящихся всех стран!»

– Забыть! Катя, Катя! Тут нужно забыть себя. Забыть тысячелетнее прошлое. Былое величие... Еще века не прошло, когда Россия диктовала свою волю Европе... Что же, – и все это смиренно положить к ногам немцев? Диктатура пролетариата! Слова-то какие! Глупость! Ох, глупость российская... А мужичок? Ох, мужичок! Заплатит он горько за свои дела...

– Нет, Дмитрий Степанович, – отвечал Рошин на пространные рассуждения доктора за чайным столом, – в России еще найдутся силы... Мы еще не выдохлись... Мы не навоз для ваших немцев... Поборемся! Отстоим Россию! И накажем... Накажем жестоко... Дайте срок...

Катя, третья собеседница за самоваром, понимала из всех этих споров только одно, что любимый человек, Рошин, несчастен и страдает, как на медленной пытке. Коротко стриженная, круглая голова его подернулась серебром. Худое лицо с ввалившимися темными глазами было точно обугленное. Когда он говорил, сжимая тяжелые руки на рваной клеенке стола: «Мы отомстим! Мы накажем!» – Кате представлялось только, что вот он пришел домой, обиженный, обессиленный, замученный, и грозит кому-то: «Погоди ты там, уж с тобой расправимся...» Кому, на самом деле, мог отомстить Рошин – нежный, деликатный, смертельно уставший? Не этим же оборванным русским солдатам, выпрашивающим на студеных улицах хлеба и папирос?.. Катя осторожно садилась рядом с мужем и гладила его руку. Ее заливала нежность и жалость к нему. Она не могла ощущать зла: ощутив его к кому-нибудь, она осудила бы прежде всего себя.

Она ничего не понимала в происходящем! Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов: например, совдеп казался ей свирепым словом, ревком – страшным, как рев быка, просунувшего кудрявую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя (было такое происшествие в детстве). Когда она разворачивала коричневый газетный лист и читала: «Французский империализм с его мрачными захватными планами и хищническими союзами...» – ей представлялся тихий в голубоватой летней мгле Париж, запах ванили и грусти, журчащие ручейки вдоль тротуаров, вспоминала о незнакомом старом человеке, который ходил за Катей повсюду и за день до смерти заговорил с ней на скамейке в саду: «Вы не должны меня бояться, у меня грудная жаба, я старик. Со мной случилось большое несчастье, – я вас полюбил. О, какое милое, какое милое ваше лицо...» «Ну, какие же они империалисты», – думала Катя.

Зима кончалась. По городу ходили слухи один другого удивительнее. Говорили, что англичане и французы тайно мирятся с немцами, с тем чтобы общими силами двинуться на Россию. Рассказывали о легендарных победах генерала Корнилова, который с горсточкой офицеров разбивает многотысячные отряды Красной гвардии, берет станицы, отдает их за ненужностью и к лету готовит генеральное наступление на Москву.

– Ах, Катя, – говорил Рощин, – ведь я сижу в тепле, а там дерутся... Нельзя, нельзя...

Четвертого февраля мимо окон докторской квартиры пошли толпы народа с флагами и лозунгами. Падал крупный снег, поднималась метель, медные трубы ревели «Интернационал». Шумно ввалился в столовую доктор в шапке и шубе, засыпанный снегом.

– Господа, мир с немцами!

Рощин молча взглянул на ерническое, широкое, мокрое, самодовольно ухмыляющееся лицо доктора и подошел к окошку. Там за сплошной пеленой бурана шли бесчисленные толпы – в обнимку, кучами, крича и смеясь: шинели, шинели, полушубки, бабы, мальчишки, – валила серая, коренная Русь. Откуда взялось их столько?

Серебряный затылок Рощина, напряженный и недоумевающий, ушел в плечи. Катя щекой коснулась его плеча. За высоким окном проходила непонятная ей жизнь.

– Смотри, Вадим, – сказала она, – какие радостные лица... Неужели это конец войне? Не верится, – какое счастье...

Рощин отстранился от нее, сжал за спиной руки, разрез рта его был жесток.

– Рано обрадовались...

В небольшой сводчатой комнате сидело за столом пять человек – в помятых пиджаках, в солдатских суконных рубахах. Их лица были темны от бессонницы. На прожженном сукне, покрывавшем стол, среди бумаг, окурков и кусков хлеба, стояли чайные стаканы и телефонные аппараты. Иногда дверь отворялась в длинный, гудящий народом коридор, входил широкоплечий, в ременном снаряжении, военный, приносил бумаги для подписи.

Председательствующий, пятый за столом, небольшого роста человек, в сером куцем пиджаке, сидел в кресле, слишком высоком по его росту, и, казалось, дремал. Левая рука его лежала на лбу, прикрывая глаза и нос; был виден только прямой рот с жесткими усиками и небритая щека сдвигающимся мускулом. Только тот, кто близко знал его, мог заметить, что в щель между пальцами, устало прикрывшими лицо его, глядит острый, лукавый глаз на докладчика, отмечает игру лиц собеседников.

Почти непрерывно звонили телефоны. Тот же широкоплечий в ремнях снимал трубки, говорил вполголоса, отрывисто: «Совнарком. Сопещание. Нельзя...» Время от времени кто-то наваливался на дверь из коридора, крутилась медная ручка. За окнами бушевал ветер со взморья, бил в стекла крупой и дождем.

Докладчик кончил. Сидящие – кто опустил голову, кто обхватил ее руками. Председательствующий передвинул ладонь выше на голый череп и написал записочку, подчеркнув одно

слово три раза, так что перо вонзилось в бумагу. Перебросил записочку третьему слева, художавому, с черными усами, со стоячими волосами.

Третий слева прочел, усмехнулся в усы, написал на той же записке ответ...

Председательствующий не спеша, глядя на окно, где бушевала метель, изорвал записочку в мелкие клочки.

– Армии нет, продовольствия нет, докладчик прав, мы мечемся в пустоте, – проговорил он глуховатым голосом. – Немцы наступают и будут наступать. Докладчик прав...

– Но это конец? Какой же выход? Капитулировать? Уходить в подполье? – перебили голоса.

– Какой выход? – Он сощурился. – Драться. Драться жестоко. Разбить немцев. А если сейчас не разобьем, – отступим в Москву. Немцы возьмут Москву, – отступим на Урал. Создадим Урало-Кузнецкую республику. Там – уголь, железо и боевой пролетариат. Эвакуируем туда питерских рабочих. Разлюбезное дело. А придет нужда – будем отступать хоть до Камчатки. Одно, одно надо помнить: сохранить цвет рабочего класса, не дать его вырезать. И мы снова займем Москву и Питер... На Западе еще двадцать раз переменится... Вешать носы, хвататься за голову – не большевистское это дело...

С неожиданной живостью он вскочил с высокого кресла, побежал, – руки в карманах, – к дубовым дверям, распахнул половинку. Из коридора, из густых испарений и тусклого света придвинулись к нему усатые, худые, морщинистые лица, горящие глаза питерских рабочих... Он поднял большую руку, запачканную чернилами:

– Товарищи, социалистическое отечество в опасности!..

2

В начале зимы на узловых станциях южнорусских дорог сталкивались два человеческих потока. С севера в донские, кубанские, терские, богатые хлебом места бежали от апокалипсического ужаса общественные деятели, переодетые военные, коммерсанты, полицейские, помещики из пылающих усадеб, аферисты, актеры, писатели, чиновники, подростки, почуявшие времена Фенимора Купера, словом – еще недавно шумное и пестрое население обеих столиц.

Навстречу с юга двигалась сплошной массой закавказская миллионная армия с оружием, пушками, снарядами, вагонами соли, сахара, мануфактуры. В скрещении получалась теснота, где работали белогвардейские шпионы. Казаки-станичники выезжали к поездам скупать оружие, богатые мужики меняли хлеб и сало на мануфактуру. Шныряли бандиты и мелкое жулье. Пойманных пришибали тут же на путях.

Красногвардейские заслоны были мало действительны, их прорывали, как паутину. Здесь были степи, воля. Здесь еще в седую старину ходили, заломив шапки. Все было непрочно, текуче, неясно. Сегодня перекидывали иногородние, малоземельные и выбирали совдеп, а завтра станичные казаки разгоняли шашками коммунистов и слали гонца, – с грамотой в шапке, – в Новочеркасск к атаману Каледину. Чихали здесь на питерскую власть.

Но с конца ноября питерская власть начала уже разговаривать серьезно. Создавались первые революционные отряды, – это были передвигающиеся в растерзанных вагонах эшелоны матросов, рабочих, бездомных фронтовиков. Они плохо подчинялись командованию, бушевали, дрались свирепо, но при малейшей неудаче откатывались и на грандиозных митингах после боя грозились разорвать командиров.

По тогда уже задуманному плану Дон и Кубань окружались по трем основным направлениям: с северо-запада двигался Саблин, отрезая Дон от Украины, полукольцом к Ростову и Новочеркаску подходил Сиверс, из Новороссийска надавливали отряды черноморских матросов. Изнутри готовилось восстание в заводских и угольных районах.

В январе красные отряды приблизились к Таганрогу, Ростову и Новочеркаску. В донских станицах рознь между казаками и иногородними не достигла еще того напряжения, когда нужно братья за оружие. Дон еще лежал недвижим. Реденькие войска атамана Каледина под давлением красных без боя уходили с фронта.

Красные нависали смертельной угрозой. В Таганроге восстали рабочие и выбили из города добровольческий полк Кутепова. Красный отряд урядника Подтелкова разбил и уничтожил под Новочеркасском последний атаманский заслон.

Тогда атаман Каледин обратился к Дону с последним, безнадежным призывом – послать казаков-добровольцев в единственное стойкое военное образование – в Добровольческую армию, формируемую в Ростове генералами Корниловым, Алексеевым и Деникиным... Но на призыв атамана никто не отозвался.

Двадцать девятого января Каледин созвал в новочеркасском дворце атаманское правительство. В белом зале за полукруглым столом сели четырнадцать окружных старшин Войска Донского, знаменитые генералы и представители «московского центра по борьбе с анархией и большевизмом». Большого роста, хмурый, с висячими усами атаман сказал с мрачным спокойствием:

– Господа, должен заявить вам, что положение наше безнадежно. Силы большевиков с каждым днем увеличиваются. Корнилов отзывает все свои части с нашего фронта. Решение его непреклонно. На мой призыв о защите Донской области нашлось всего сто сорок семь штыков. Население Дона и Кубани не только не поддерживает нас – оно нам враждебно. Почему это? Как назвать этот позорный ужас? Шкурничество погубило нас. Нет больше чувства долга, нет

чести. Предлагаю вам, господа, сложить с себя полномочия и передать власть в другие руки. – Он сел и затем прибавил, ни на кого не глядя: – Господа, говорите короче, время не ждет...

Помощник атамана, «донской соловей» Митрофан Богаевский, крикнул ему злобно: – Иными словами – вы предлагаете передать власть большевикам?..

На это атаман ответил, что пусть войсковое правительство поступает так, как ему заблагорассудится, и тотчас покинул заседание, – ушел, тяжело ступая, в боковую дверь, к себе. Он взглянул в окно на мотающиеся голые деревья парка, на безнадежные снежные тучи, позвал жену; она не ответила. Тогда он пошел дальше, в спальню, где пылал камин. Он снял тужурку и шейный крест, в последний раз, словно не вполне еще уверенный, близко взглянул на военную карту, висевшую над постелью. Красные флажки густо обступили Дон и кубанские степи. Игла с трехцветным флажком была воткнута в черной точке Ростова. И только. Атаман вытянул из заднего кармана синих с лампасами штанов плоский теплый «браунинг» и выстрелил себе в сердце.

Девятого февраля генерал Корнилов вывел свою маленькую Добровольческую армию, – состоящую сплошь из офицеров, юнкеров и кадет, – обозы генералов и особо важных беженцев из Ростова за Дон, в степи.

Маленький, с калмыцким лицом, сердитый генерал шел в авангарде войск, пешком, с солдатским мешком за плечами. В одной из телег, в обозе, ехал, прикрытый тигровым одеялом, несчастный, больной бронхитом генерал Деникин.

За вагоном плыли бурые степи, оголенные от снега. В разбитое окно дул свежий ветер, пахнувший талой землей. Катя глядела в окно. Ее голову и грудь покрывал оренбургский платок, завязанный на спине узлом. Рошин, в солдатской шинели и рваном картузе, протянув ноги, дремал. Поезд шел медленно. Вот потянулись голые, с прижатыми ветвями, высокие деревья, густо обсаженные гнездами. Тучи грачей кружились над ними, раскачивались на сучьях. Катя придвинулась ближе к окну. Грачи кричали тревожно, дико – по-весеннему, так же как кричали в далеком детстве, – о вешних водах, о туманах, о первых грозах.

Катя и Рошин ехали на юг, – куда? В Ростов, в Новочеркасск, в донецкие станицы? Туда, где запутывался узел гражданской войны. Рошин спал, уронив голову, небритое лицо было обтянуто, жесткие морщины выступали у рта, сложенного брезгливо. И вдруг Кате стало страшно: это было не его лицо, – чужое, остроносое... В окно ветер нес крики грачей. Потряхиваясь на стрелках, медленно шел вагон. По грязному шляху, наискосок уходящему в степь, тянулись воза, – лохматые лошаденки, телеги, залепленные грязью, бородатые, чужие, страшные люди. Рошин затаил во сне не то храп, не то стон, хриповатый, мучительный. Тогда Катя дрожащими руками коснулась его лица:

– Вадим, Вадим...

Он резко оборвал страшную ноту. Разлепил бессмысленные глаза.

– Фу, черт, снится мерзость...

Вагон остановился. Теперь слышались, кроме грачиных, человеческие голоса. Пробежали в мужичьих сапогах бабы с мешками, толкаясь, показывая белые ляжки, полезли в товарный вагон. В окно купе, прямо на Катю, просунулась в засаленном картузе косматая голова, от самых медвежьих глаз заросшая бородой, сваянной в косицы.

– Случаем, пулеметика не продадите?

На верхней полке крикнули, кто-то сильно повернулся, веселым голосом ответил:

– Пушечки имеются, а пулеметики все продали.

– Пушки нам ни к чему, – сказал мужик, раздвигая большой рот, так что борода пошла в стороны веником. Он влез с локтями в окошко, хитро оглядывая внутренность купе, – нельзя ли к чему прицениться? С верхней койки соскочил рослый солдат, – широкое лицо, голубые детские глаза, ладный бритый череп. Затянул сильным движением ремень на шинели.

– Тебе, отец, не воевать, на печку пора, шептунов пускать.

– Это верно, – сказал мужик, – что на печку. Нет, солдат, нынче на печи не поспишь.

Спать не дадут. Ино кормиться надо.

– Разбоем?

– Ну, ты скажешь...

– А зачем тебе пулемет?

– Как тебе сказать? – Мужик закрутил нос, корявой рукой разворочал шерсть на лице, и все это затем, чтобы скрыть блеск глаз, – так они у него лукаво засмеялись. – Сынишка у меня с войны вернулся. Съезди да съезди, говорит, на станцию, приценись к пулеметику. Пуда за четыре пшенички я бы взял. А?

– Кулачье, – сказал солдат и засмеялся, – черти гладкие! А сколько у тебя лошадей, папаша?

– Восемь бог дал. А из вещей каких или оружия ничего для продажи нет? – Он еще раз оглянул сидящих в купе и – вдруг и улыбка пропала, и глаза погасли – отвернулся, будто это не люди были в купе, а дерьмо, и пошел по грязи, по перрону, помахивая кнутиком.

– Видели его? – сказал солдат, ясно взглянув на Катю. – Восемь лошадей! А сыновей у него душ двенадцать. Посадит их на коней, и пошли гулять по степи, – добытки. А сам – на печку, задницей в зерно, добычу копить.

Солдат перевел глаза на Рощина, и вдруг брови его поднялись, лицо просияло.

– Вадим Петрович, вы?

Рощин быстро оглянулся на Катю, но, – делать нечего, – «Здравствуй», – протянул руку; солдат крепко пожал ее, сел рядом. Катя видела, что Рощину не по себе.

– Вот встретились, – сказал он кисло. – Рад видеть тебя в добром здравии, Алексей Иванович... А я, как видишь, – маскарад...

Тогда Катя поняла, что этот солдат был Алексей Красильников, бывший вестовой Рощина. О нем Вадим Петрович не раз рассказывал, считал его великолепным типом умного, даровитого русского мужика. Было странно, что Рощин так холодно с ним обошелся. Но, видимо, Красильников понял почему. Улыбаясь, закурил. Спросил вполголоса, деловито:

– Супруга ваша?

– Да, женился. Будьте знакомы. Катя, это тот самый мой ангел-хранитель, помнишь – я рассказывал... Повоевали, Алексей Иванович... Ну, что же, поздравляем с похабным миром... Русские орлы, хе-хе... Вот теперь пробираюсь с женой на юг... Поближе к солнышку... (Это «солнышко» прозвучало плохо, Рощин резко поморщился, Красильников и бровью не повел.) Ничего другого не остается... Благодарное отечество наградило нас – штыком в брюхо... (Он дернулся, точно по всему телу его обожгла вошь.) Вне закона – враги народа... Так-то...

– Положение ваше затруднительное! – Красильников качнул головой, прищурясь на окошко. Там за сломанным забором в железнодорожном палисаднике сбивалась толпа. – Положение – как в чужой стране! Я вас понимаю, Вадим Петрович, а другие не поймут. Вы народу нашего не знаете.

– То есть как не знаю?

– А так... И никогда не знали. И вас сроду обманывали.

– Кто обманывал?

– Обманывали мы – солдаты, мужики... Отвернетесь, а мы смеемся. Эх, Вадим Петрович! Беззаветную отвагу, любовь к царю, отечеству – это господа выдумали, а мы долбили по солдатской словесности... Я – мужик. Сейчас за братишкой моим еду в Ростов, – он там раненый лежит, офицерской пулей пробита грудь, – возьму его и – назад, в деревню... Может, крестьянствовать будем, может, воевать... Там увидим... А будем воевать по своей охоте, – без барабанного боя, жестоко... Нет, не ездите на юг, Вадим Петрович. Добра там не найдете...

Рощин, глядя на него блестящими глазами, облизнул сухие губы. Красильников все внимательнее всматривался в то, что происходило в палисаднике. А там нарастал злой гул голосов. Несколько человек полезло на деревья – смотреть.

– Я говорю – с народом все равно не справитесь. Вы все равно как иностранцы, буржуи. Это слово сейчас опасное, все равно сказать – конокрады. На что генерал Корнилов вояка, – лично мне Георгиевский крест приколот. А что же, – думал поднять станицы за Учредительное собрание, и получился – пшик: слова не те, а уж он народ знает как будто... И слух такой, что мечется сейчас в кубанских степях, как собака в волчьей стае... А мужики говорят: «Буржуи бесятся, что им воли в Москве не дано...» И уж винтовочки, будьте надежны, на всякий случай вычистили и смазали. Нет, Вадим Петрович, вернитесь с супругой в столицу... Там вам безопаснее будет, чем с мужичьем... Смотрите, что делают... (Он внезапно возвысил голос, нахмурился.) Убьют сейчас его...

В палисаднике, видимо, дело подходило к концу. Двое коренастых солдат крепко, со зверскими лицами, держали хилого человека в разодранной на груди куртке из байкового одеяла. Небритое лицо его с припухшим носом было смертно бледное, струйка крови текла с края дрожащих губ. Блестящими, побелевшими глазами он следил за молодой разъяренной бабой. Она то рвала с головы своей теплый платок, то приседала, тормоша юбки, то кидалась к бледному человеку, схватывала его за взъерошенные дыбом волосы, кричала с каким-то даже упоением:

– Украл, вытащил из-под подола, охальник! Отдай деньги! – Она схватила его за щеки, замерла.

Бледный человек неожиданно вывернулся из ее пальцев, но коренастые надели на него. Баба взвизгнула. Тогда, расталкивая народ, на месте происшествия появился давешний мужик с медвежьей головой, плечом отстранил бабу и коротко, хозяйственно ударил бледного человека в зубы: «И-эх!» Тот сразу осел. На ближайшем дереве, перегнувшись, закричал кто-то с длинными рукавами: «Бьют!» Толпа сейчас же сдвинулась. Над телом нагибались и разгибались, взмахивая кулаками.

Окно вагона поплыло мимо толпы. Наконец-то! У Кати в горле стоял клубочек задавленного крика. Рощин брезгливо морщился. Красильников покачивал головой:

– Ай, ай, ай, и ведь, наверно, убили зря. Бабы эти кого хочешь растроят. Не так мужик лют, как они. Что с ними сделалось за четыре эти года – не поверите! Вернулись мы с войны, смотрим – другие бабы стали. Теперь ее не погладишь вожжами, – сам сторожись, гляди веселей. Ах, до чего бойки стали бабы...

На первый взгляд кажется непонятным, почему «организаторы спасения России» – главнокомандующие Алексеев и Лавр Корнилов – повели горсть офицеров и юнкеров – пять тысяч человек, – с жалкой артиллерией, почти без снарядов и патронов, на юг к Екатеринодару, в самую гущу большевизма, охватившего полукольцом столицу кубанских казаков.

Строго стратегического плана здесь усмотреть нельзя. Добровольческая армия была выпихнута из Ростова, который защищать не могла. В кубанские степи ее гнала буря революции. Но был план политический, оправдавшийся двумя месяцами позднее. Богатое казачество неминуемо должно было подняться против иногородних – то есть всего пришедшего населения, живущего арендой казачьих земель и не владеющего никакими правами и привилегиями. На Кубани на один миллион четыреста тысяч казачества приходилось иногородних миллион шестьсот тысяч.

Иногородние неминуемо должны были стремиться к захвату земли и власти. Казачество неминуемо – с оружием восстать за охрану своих привилегий. Иногородними руководили большевики. Казачество вначале не хотело над собой никакой руки: чего было лучше – сидеть помещиками по станицам! Но, когда в феврале авантюрист, родом казак, Голубов с двадца-

тью семью казаками ворвался в Новочеркасске на заседание походного штаба атамана Назарова и, потрясая наганом, под щелканье винтовочных замков, закричал: «Встать, мерзавцы, советский атаман Голубов пришел принять власть!» – и на самом деле на следующий день в роще за городом расстрелял атамана Назарова вместе со штабом (с тем, чтобы самому взять атаманскую булаву), расстрелял еще около двух тысяч казачьих офицеров, кинулся в степи, схватил там Митрофана Богаевского, стал возить его по митингам, агитируя за вольный Дон и за свое атаманство, и, наконец, сам был убит на митинге в станице Заплавской, – словом, в феврале казачество осталось без головы. А тут еще с севера наседали нетерпеливая, голодная, взъерошенная Великороссия.

Стать головой казачества, сев в Екатеринодаре, мобилизовать регулярное казачье войско, отрезать от большевистской России Кавказ, грозненскую и бакинскую нефть, подтвердить свою верность союзникам, – вот каков был на первое время план командования Добровольческой армии, отправлявшейся в так названный впоследствии «ледяной поход».

Матрос Семен Красильников (брат Алексея) лег вместе с другими на пашню, на гребне оврага, недалеко от железнодорожной насыпи. Рядом с ним торопливо, как крот, ковырял лопаткой армеец. Закопавшись, высунул вперед себя винтовку и обернулся к Семену:

– Плотней в землю уходи, братишка.

Семен с трудом выгребал из-под себя липкие комья. Пели пули над головой. Лопата зазвенела о кирпич. Он выругался, поднялся на коленях, и сейчас же горячим толчком ударило его в грудь. Захлебнулся и упал лицом в вырытую ямку.

Это был один из многочисленных коротких боев, преграждавших путь Добровольческой армии. Как всегда почти, силы красных были значительнее. Но они могли драться, могли и отступить без большой беды: в бою, в этот первый период войны, победа для них не была обязательна. Позиция ли неудачна, или слишком огрызались «кадеты», – ладно, наложим в другой раз, и пропускали Корнилова.

Для Добровольческой армии каждый бой был ставкой на смерть или жизнь. Армия должна была победить и продвинуться вместе с обозами и ранеными еще на дневной переход. Отступать было некуда. Поэтому в каждый бой корниловцы вкладывали всю силу отчаяния – и побеждали. Так было и в этот раз.

В полуверсте от залегших под пулеметным огнем цепей, на стогу прошлогоднего сена, стоял, расставив ноги, Корнилов. Подняв локти, глядел в бинокль. За спиной у него вздрагивал холщовый мешок. Черный с серой опушкой нагольный полушубок расстегнут. Ему было жарко. Из-под бинокля упрямо торчал подбородок, покрытый седой щетиной.

Внизу, прижавшись к стогу, стоял поручик Долинский, адъютант командующего, – большеглазый, темнобровый юноша, в офицерской шинели, в лихо смятой фуражке. Глотая волнение, катающееся по горлу, он глядел снизу вверх на седой подбородок командующего, точно в этой щетине – страшно человеческой, близкой – было сейчас все спасение.

– Ваше превосходительство, сойдите, умоляю вас, подстрелят, – повторял Долинский. Он видел, как разлепились у Корнилова лиловые губы, судорогой оскалился рот. Значит, дело плохо. Долинский не глядел уже туда, где черными крошечными фигурками поднимались над буро-зеленой степью, перебегали густые цепи большевиков. Туда, – ссссык, ссссык, – уходили шрапнели. Но он же знал, – снарядов мало, черт, мало... Бумммм, – серьезно ухала за взорванным мостом красная шестидюймовка... Торопливо стучал пулемет. И пчелками пели пули близко где-то над головой командующего. – Ваше превосходительство, подстрелят...

Корнилов опустил бинокль. Коричневое калмыцкое лицо его, с черными, как у жаворонка, глазами, собралось в морщины. Топчась по сему, он обернулся назад, нагнулся к стоявшим за стогом спешенным текинцам – его личному конвою. Это были худые, кривоногие люди,

в огромных, круглых бараньих шапках и в полосатых, цвета семги, черкесках. Не шевелясь, картинно, они держали под уздцы худых лошадей.

Резким, лающим голосом Корнилов отдал приказание, показав рукой в сторону оврага. Текинцы, как кошки, вскочили на коней, – один крикнул гортанно по-своему, – выхватили кривые сабли и на рысях, затем галопом пошли в степь, в сторону оврага, где чернела пашня и за ней виднелась полоска железнодорожной насыпи.

Семен Красильников теперь лежал на боку, – так было легче. Еще час тому назад сильный и злой, сейчас он слабо, часто стонал, с трудом сплевывая кровью. Справа и слева от него беспорядочно стреляли товарищи. Они глядели туда же, куда и он, – на бурый, покатый бугор по ту сторону оврага. По нему вниз мчались верхоконные, человек пятьдесят, лавой. Это была атака конного резерва.

Сзади подбежал кто-то, упал на колени рядом с Красильниковым и кричал, кричал, надсаживаясь, размахивал маузером. Он был в черной кожаной куртке. Верхоконные ссыпались в овраг. Человек в куртке кричал не по-военному, но ужасно напористо:

– Не смей отступить, не смей отступить!

И вот над этим краем оврага поднялись огромные шапки, – раздался протяжный вой, как ветер. Выскочили текинцы. Лежа в полосатых бешметах над гривами лошадей, они скакали по вязкой пашне, где по бороздам еще лежал грязный снег. Летели в воздух комья грязи с копыт. «И-аааа-и-аааа», – визжали оскаленные смуглые личики с усами из-под папах. Вот уже виден водяной блеск кривых сабель. Ох, не выдержат наши конной атаки! Серые шинели поднимаются с пашни. Стреляют, пятятся. Комиссар в кожаной куртке заметался – наскочил, ударил одного в спину:

– Вперед, в штыки!

Красильников видит, – один полосатый бешмет будто по-нарочному покатился с коня, и добрый конь, озираясь испуганно, поскакал в сторону. Рванул по цепи железный лязг, дымными шарами, желтым огнем разорвалась очередь шрапнели. И армеец Васька, балагур, в шинели не по росту, – сплеховал. Бросил винтовку. Весь – белый, и рот разинул, глядит на подлетающую смерть. Они все ближе, вырастают вместе с конями. Один – впереди – конь стелется, как собака, опустив морду. Текинец разогнулся, стоит в стремях, разлетаются полы халата.

– Сволочь! – Красильников тянется за винтовкой. – Эх, пропал комиссар! – Текинец рванул коня на кожаную куртку. – Стреляй же, черт!

Красильников видел только, как полоснула кривая сабля по кожаной куртке... И сейчас же вся конная лава обрушилась на цепь. Дунуло горячим лошадиным потом.

Текинцы проскочили, повернули во фланг. А на пашню из оврага уже выбегали, спотыкаясь, светло-серые и черные шинели, барски блестя погонами.

– Уррррра!

Бой отодвинулся к полотну. Красильников долгое время слышал только, как стонал комиссар, порубленный саблей. Все реже раздавались выстрелы. Замолчали пушки. Красильников закрыл глаза, – гудело в голове, ломило грудь. Ему жалко было себя, не хотелось умирать. Отяжелевшее тело тянуло к земле. С жалостью вспомнил жену Матрену. Пропадет одна. А ведь как ждала его, писала в Таганрог – приезжай. Увидала бы сейчас его Матрена, перевязала бы рану, принесла бы пить. Хорошо бы воды с простоквашей...

Когда Красильников услышал матерную ругань и голоса, не свои – барские, он приоткрыл глаз. Шли четверо: один в серой черкеске, двое в офицерских пальто, четвертый в студенческой шинели с унтер-офицерскими погонами. Винтовки – по-охотничьи – под мышкой.

– Гляди – матрос, сволочь, пырни его, – сказал один.

– Чего там – сдох... А этот – живой.

Они остановились, глядя на лежавшего Ваську-балагура. Тот, кто был в черкеске, вдруг гаркнул бешено:

– Встань! – ударил его ногой.

Красильников видел, как поднялся Васька, половина лица залита кровью.

– Стать – руки по швам! – крикнул в черкеске, коротко ударил его в зубы. И сейчас же все четверо взяли винтовки наперевес. Плачущим голосом Васька закричал:

– Пожалейте, дяденька.

Тот, кто был в черкеске, отскочил от него и, резко выдыхая воздух, ударил его штыком в живот. Повернулся и пошел. Остальные нагнулись над Васькой, стаскивая сапоги.

Когда добровольцы, пристрелив пленных и запалив, – чтобы вперед помнили, – станичное управление, ушли дальше к югу, Семена Красильникова подобрали на пашне казаки. Они вернулись с женами, детьми и скотом в станицу, едва только обозы «кадетов» утонули за плоским горизонтом едва начинающей зеленеть степи.

Семен боялся умереть среди чужих людей. Деньги у него были с собой, и он упросил одного человека отвезти его на телеге в Ростов. Оттуда написал брату, что тяжело ранен в грудь и боится умереть среди чужих, и еще написал, что хотел бы повидать Матрену. Письмо послал с земляком.

До восемнадцатого года Семен служил в Черноморском флоте матросом на эскадренном миноносце «Керчь».

Флотом командовал адмирал Колчак. Несмотря на ум, образованность и, как ему казалось, бескорыстную любовь к России, – Колчак ничего не понимал ни в том, что происходило, ни в том, что неизбежно должно было случиться. Он знал составы и вооружения всех флотов мира, мог безошибочно угадать в морском тумане профиль любого военного судна, был лучшим знатоком минного дела и одним из инициаторов поднятия боеспособности русского флота после Цусимы, но, если бы кто-нибудь (до семнадцатого года) заговорил с ним о политике, он ответил бы, что политикой не интересуется, ничего в ней не понимает и полагает, что политикой занимаются студенты, неопрятные курсистки и евреи.

Россия представлялась ему дымящими в кильватерной колонне дредноутами (существующими и предполагаемыми) и андреевским флагом, гордо, – на страх Германии, – веющим на флагмане. Он любил строгий и чинный (в стиле великой империи) подъезд военного министерства со знакомым швейцаром (отечески каждый раз, – снимая пальто: «Плохая погода-с изволит быть, Александр Васильевич»), воспитанных, изящных товарищей по службе и замкнутый, дружный дух офицерского собрания. Император был возглавлением этой системы, этих традиций.

Колчак, несомненно, любил и другую Россию, ту, которая выстраивалась на шканцах корабля, – в бескозырках с ленточками, широколицая, загорелая, мускулистая. Она прекрасными голосами пела вечернюю молитву, когда на закате спускался флаг. Она «беззаветно» умирала, когда ей приказывали умереть. Ею можно было гордиться.

В семнадцатом году Колчак не колеблясь присягнул на верность Временному правительству и остался командовать Черноморским флотом. С едкой горечью, как неизбежное, он перенес падение главы империи, стиснув зубы, принял к сведению матросские комитеты и революционный порядок, все только для того, чтобы флот и Россия находились в состоянии войны с немцами. Если бы у него оставалась одна минная лодка, кажется – и тогда он продолжал бы воевать. Он ходил в Севастополе на матросские митинги и, отвечая на задирающие речи ораторов, приезжих и местных – из рабочих, говорил, что лично ему не нужны проливы – Дарданеллы и Босфор, – так как у него нет ни земли, ни фабрик и вывозить ему из России нечего, но он требует войны, войны, войны не как наемник буржуазии (гадливая гримаса искажала его бритое лицо с сильным подбородком, слабым ртом и глубоко запавшими глазами), – «но говорю это как русский патриот».

Матросы смеялись. Ужасно! Верные, готовые еще вчера в огонь и воду за отечество и андреевский флаг, они кричали своему адмиралу: «Долой наемников имперьялизма!» Он про-

износил эти слова, «русский патриот», с силой, с открытым жестом, сам в эту минуту готовый беззаветно умереть, а матросы, – черт их попутал, – слушали адмирала как врага, пытающегося их коварно обмануть.

На митингах Семен Красильников слышал, что войну хотят продолжать не «патриоты», а заводчики и крупные помещики, загибающие на ней большие капиталы, а народу эта война не нужна. Говорили, что немцы такие же мужики и рабочие, как и наши, и воюют по причине того, что обмануты своей кровавой буржуазией и меньшевиками. «Братва» на митингах лютела от ненависти... «Тысячу лет обманывали русский народ! Тысячу лет кровь из нас пили! Помещики, буржуи, – ах гады!» Глаза открылись: вот отчего жили хуже скотов... Вот где враг!.. И Семен, хотя и сильно тосковал по брошенному хозяйству и по молодой жене Матрене, – стискивал кулаки, слушая ораторов, пьянел, как и все, вином революции, и забывалась в этом хмеле тоска по дому, по жене, красивой Матрене...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.